Нг1573

А. Ф. КОНИ

1821 — 1921

НЕКРАСОВ ДОСТОЕВСКИЙ

ПО ЛИЧНЫМ ВОСПОМИНАНИЯМ

12 ДЕК. 1921

ПЕТЕРБУРГ
КООПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИТЕРАТОРОВ И УЧЕНЫХ
1921

Петрогр... БИБЛИОТЕ...

А I 1573

А. Ф. КОНИ

1821 — 1921

НЕКРАСОВ ДОСТОЕВСКИЙ

ПО ЛИЧНЫМ ВОСПОМИНАНИЯМ

28831
Перед 1941
ПРОВЕРКА 2007 г.

ПЕТЕРБУРГ
КООПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИТЕРАТОРОВ И УЧЕНЫХ
1 9 2 1

Гос. Ун-т
Научная библиотека им. Горького
Ленинградский Государственный университет
Научная библиотека

Настоящее издание отпечатано в 15-й Госуд. типографии (бывш. Голике и Вильборг) в количестве 2.500 экземпляров. Обложка и книжные украшения работы художника А. Н. Лео

Р. В. Ц.

Сочинения выдающихся писателей представляют обыкновенно ценный материал для суждения о их литературных вкусах, о взгляде их на задачи искусства и о их нравственных и общественных идеалах. Нередко в их измененной внешним образом форме содержатся автобиографические данныя, которыми, однако, следует пользоваться с большой осторожностью, ввиду возможности создания себе далекого от действительности представления о личности писателя. В этом последнем отношении хорошим материалом могут служить личные воспоминания, рисующие писателя так сказать „живьем“, причем иногда какая-нибудь, даже мелкая, подробность из житейских встреч с ним изобра-

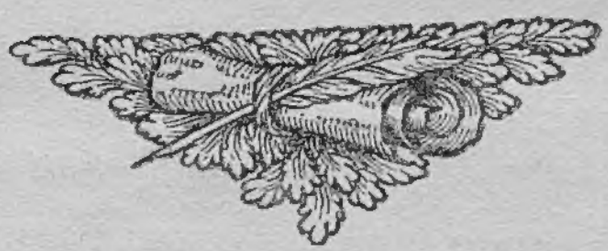
Деп. Гос. Уч-т
Научная
библиотека им.
Горького

жает его более ярко, чем длинные рассуждения о нем, почерпнутые из его сочинений.

На моем долгом жизненном пути судьба послала мне личное знакомство с Некрасовым и Достоевским, Львом Толстым и Майковым, Тургеневым и Гончаровым, Писемским, Соловьевым, Апухтиным, Кавелиным и др. Воспоминаниям о двух из них посвящается настоящая книжка, ввиду того, что в настоящем году исполнилось и исполняется 100 лет с рождения Некрасова и Достоевского.

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

НЕКРАСОВ



Редко кто из выдающихся писателей возбуждал при жизни и после смерти столько разноречивых оценок, как Н. А. Некрасов. Рядом с восторженным изображением его, как „печальника горя народного“, существуют отзывы о нем, как о тенденциозном стихотворце, в произведениях которого „поэзия и не ночевала“, как о лицемере, негодующее слово которого шло в разрез с черствостью его сердца и своекорыстием. Здесь не место разбирать его произведения и доказывать при этом, как односторонни, пристрастны и несправедливы такие взгляды на его творчество и личность. Достаточно указать на задачу, поставленную им всякому общественному деятелю своим заветом: „иди к униженным, иди к обиженным и будь

им друг", которому он и сам следовал, будя в читателе негодование на мрачные и жестокие стороны крепостного права, рекрутчины и бюрократического бездушия. Он знакомил так называемое „общество" и городскую молодежь с русским сельским бытом и, хотя и разными с Тургеневым приемами, вызывал в ней сочувствие к простому русскому человеку и веру в жизненность его духовных сил. Нужно ли говорить о красоте, сжатости и выразительности его языка, о богатстве глубоких по содержанию прилагательных, рисующих целые картины, об искусных звукоподражаниях, о ярких образах — щедрою рукою рассыпанных в его произведениях? Можно ли забыть о тяжких впечатлениях его действия, протекшего „средь буйных дикарей", под звон цепей каторжников, проходящих „по Владимирке", и унылое пение бурлаков на Волге и в частных горьких слезах, разделяемых им со страдающей матерью, воспетой им с такой захватывающей скорбью?

Все это не входит однако в задачу настоящего очерка: хочется поделиться с читателями простыми личными воспоминаниями, касающимися Некрасова.

Еще в раннем детстве, когда ни о каком знакомстве моем с поэзией Некрасова не могло

быть и речи, да она и не успела еще развернуться во всю свою ширь, я уже интересовался им по рассказам своего отца, издателя-редактора „Литературной Газеты“ в 1840—41 годах и „Пантеона и Репертуара“ с 1843 почти вплоть по 1851 год, когда последний журнал был переименован в „Пантеон“ и очень расширил свою литературно-художественную программу. Время издания „Литературной Газеты“ совпало с годами тяжелых испытаний и крайних лишений в жизни Некрасова. Ему приходилось очень бедствовать, подчас подолгу голодать и на себе испытывать ту нищету, бесприютность и неуверенность в завтрешнем дне, которые отразились на содержании многих его стихотворений. Он, очевидно, знал по личному опыту, как тяжко проживание в петербургских углах, описанных им в одном из сборников, им изданных. Существовать приходилось изо дня в день составлением книжек для мелких издателей-торгашей и торопливым писанием на заказанные темы о чем придется и как придется. В этот период его жизни с ним познакомился редактор „Литературной Газеты“ и предложил ему в своем издании хороший по тогдашним временам заработок, ценя молодого писателя, давая ему иногда по целым неделям приют у себя и

оберегая его от возвращения к привычкам бродячей и бездомной жизни.

В письме из Ярославля от 16 августа 1841 г., по поводу какого-то недоразумения, вызванного сплетнями одного из „добрых приятелей“ Некрасова, он писал моему отцу: „Неужели вы почитаете меня способным так скоро забыть недавнее прошлое?.. Я помню, что был я назад два года, как я жил. Я понимаю теперь, мог ли бы я выкарабкаться из сору и грязи без помощи вашей. Я не стыжусь признаться, что всем обязан вам, иначе бы я не написал вам этих строк, которые навсегда могли бы остаться для меня уликой“. Большая часть работ Некрасова в „Литературной Газете“ была подписана псевдонимом „Перепельский“. Себя и редактора он изобразил в „Водевильных сценах из журнальной жизни“, под именем Пельского и Семечко, и вложил в уста последнего следующее profession de foi по поводу приемов тогдашней газетной травли, руководимой знаменитым в своем роде Булгариным: „я литератор, а не торговец с рынка, и не хочу пятнать страниц моей газеты той ржавчиной литературы, которую желал бы смыть кровью и слезами“. Когда Некрасов вышел на широкую литературную дорогу, его добрые отношения с моим

отцом продолжались, хотя видались они довольно редко.

В перный раз мне пришлось его увидать в конце пятидесятых годов на Невском, при встрече его с моим отцом. Я жадно всматривался в его желтоватое лицо и усталые глаза и вслушивался в его глухой голос: в это время имя его говорило мне уже очень многое. В короткой беседе разговор — почему уже не помню — коснулся исторических исследований об Иване Грозном и о его царствовании, как благодарном драматическом материале. „Эх, отец! — сказал Некрасов (он любил употреблять это слово в обращении к собеседникам), — ну, чего искать так далеко, да и чего это всем дался этот Иван Грозный! Еще и был ли Иван-то Грозный?..“ — окончил он смеясь.

Осенью 1861 года я был на литературном вечере в память только-что схороненного Добролюбова, Некрасов читал трогательные стихотворения покойного, еще не появившиеся в печати. Его глухой голос как нельзя более соответствовал скорбному тону того, что он выбрал для чтения: „пускай умру, печали мало: — не то страшит мой ум больной, — но чтоб и смерть не разыграла — обидной шутки надо мной“, говорил он, и казалось, что это — за-

могильный голос самого Добролюбова. Впечатление было сильное. Мне пришлось опять слышать чтение Некрасова десять лет спустя, на вечере, устроенном М. Е. Ковалевским у себя, в пользу колонии для малолетних преступников. Тогда готовились к печати „Русские женщины", и этим произведением, отдельные места которого глубоко трогательны, поделился со слушателями Некрасов. Аудитория была изысканная в смысле умственного развития, и мне показалось, что он, всегда спокойный и сдержанный, читая волновался и по временам в его голосе слышались слезы. Другие подтвердили мое замечание. Очевидно было, что он — которого так часто упрекали в неискренности — прочувствовал и переживал душевно за княгиню Волконскую и в особенности за Трубецкую — те нравственные страдания их, которые были им воспеты с такой силой и вместе простотой.

С начала 1872 года я стал довольно часто встречать Некрасова в доме его большого приятеля, Александра Николаевича Ераков (ему посвящено Некрасовым большое стихотворение „Недавнее время"), воспитанием дочерей которого руководила сестра Некрасова, Анна Алексеевна Буткевич. Ераков был живой, образованный, чрезвычайно добрый и увлекающийся

человек, обладавший тонким художественным вкусом. В его гостеприимном доме любимыми посетителями были: Салтыков, Алексей Михайлович Унковский, Плещеев и Некрасов. Последний часто навещал сестру и приносил ей свои только-что написанные стихотворения. Благодаря этому и моему близкому знакомству с семейством Ераковых, я читал почти все произведения Некрасова, появившиеся после 1871 г., еще в рукописи и иногда в первоначальном их виде. Некрасов очень любил сестру и относился к ней с большим вниманием и участием. В ее строгом лице, со следами замечательной красоты, были черты сходства с братом. Она повидимому не прошла, однако, подобно ему, годов лишений и нравственных уколов, испытываемых человеком, стоящим на границе, за которою начинается уже несомненная и неотвратимая нищета, грозящая бесповоротно увлечь „на дно“. Поэтому „борьба за существование“ меньше отразилась на ней, на ее статной и изящной фигуре, на цвете ее лица. Некрасов приезжал к Ераковым в карете или коляске, в дорогой шубе, и подчас широко, как бы не считая, тратил деньги, но в его глазах, на его нездорового цвета лице, во всей его походке виднелось не временное, преходящее утомление, а

застарелая жизненная усталость и, если можно так выразиться, надорванность его молодости. Не даром говорил он про себя: „праздник жизни — молодости годы — я убил под тяжестью труда“...

Мы возвращались как-то, летом 1873 г., вдвоем из Ораниенбаума, где обедали на даче у Еракова. На мой вопрос, отчего он не продолжает „Кому на Руси жить хорошо“, он ответил мне, что, по плану своего произведения, дошел до того места, где хотел бы поместить наиболее яркие картины из времен крепостного права, но что ему нужен фактический материал, который собирать некогда, да и трудно, так как у нас даже и недавним прошлым никто не интересуется. — „Постоянно будить надо, — без этого русский человек способен позабыть и то, как его зовут“, — прибавил он. „Так вы бы и разбудили, кликнув клич между знакомыми о доставлении вам таких материалов, — сказал я. — Вот, например, — хотя я и мало знаком с жизнью народа при крепостных отношениях, а, думается мне, мог бы рассказать вам случай, о котором слышал от достоверных людей“...

— А как вы познакомились с русской деревней и что знаете о крепостном праве? — спросил меня Некрасов. Я рассказал ему, что

в отрочестве мне пришлось провести два лета вместе с моими родителями в Звенигородском уезде Московской губ. и в Бельском уезде Смоленской. В последнем я видел несколько безобразных проявлений крепостного права со стороны семьи одного помещика, не чуждого, в свое время, литературе. Гораздо ближе познакомился я с русским сельским бытом, когда, будучи московским студентом, жил летом 1863 г. „на кондициях“ в Пронском уезде, Рязанской губернии, в усадьбе Панькино, в семействе бывшего профессора А. Н. Драшусова, младшего сына которого готовил к поступлению в гимназию и дочери которого давал впоследствии в Москве уроки. Почти все время, свободное от уроков и от беседы с хозяйкой дома — умной и очень образованной женщиной, бывшей в переписке со многими выдающимися людьми Западной Европы, — я проводил на селе, живо интересуясь только-что совершившимся переломом в крестьянском быту под влиянием великой реформы 19-го февраля и внимательно прислушиваясь к постепенно умолкавшим отголоскам недавних крепостных отношений. С чувством теплого уважения вспоминаю я прекрасную личность мирового посредника первого призыва, отставного майора Федюкина, одного

Гос. Науч. Библиотека им. Горького

из тех благороднейших деятелей, которые внезапно появились в России под благовест освобождения и нередко беспощадно к себе и бескорыстно вложили всю душу свою в новое дело. И, как контраст ему, рисуется в моих воспоминаниях местная молодая титулованная помещица, вечно воевавшая с ненавистным ей Федюкиным, со злобной настойчивостью преследовавшая своих крепостных за каждую охапку хвороста, собранную в ее лесу, и за каждый, как выражался мировой посредник, „намек на потраву“. Она привозила по временам в Панькино откуда-то добываемый ею Герценовский „Колокол“ и с ликованием читала в нем резкие и язвительные выходки против императора Александра II. Когда однажды я заметил ей крайнее несоответствие ее домашнего образа действий и негодования на Федюкина, часто становившегося на сторону крестьян, — с восхищением перед упомянутыми выходками, она пожала плечами с выражением презрительного сожаления о моем умственном неразвитии и решительно отрезала мне: — „никакого несоответствия нет и удивляться нечему! Мне нравится, когда его ругают, поделом ему! Зачем он освободил крестьян и позволил разным Федюкиным помогать нас грабить!..“

Я бывал в заседаниях волостного суда и на сельских сходах, бродил подолгу с крестьянином-охотником Данилой и просиживал с ним до рассвета в лесу, „подвывая“ волков, на что он был большой мастер — и вел долгие беседы со сторожем волостного правления, прозвища которого, к сожалению, теперь не помню. Его звали Николай Васильевич. Это был высокий старик с шапкою седых волос и подслеповатыми глазами, ездивший в Москве в извозчиках еще до того, как туда „приходил француз“. Большой любитель моих папирос, словоохотливый старик подолгу рассказывал мне о прошлом, вплетая в свои рассказы, без всякой предвзятой мысли, яркие картины из крепостной эпохи. Он не видел во мне „барина“ и относился поэтому ко мне с полным доверием, которое поколебалось лишь однажды. — „Тебе какое-же, родимый, положение идет за то, что ты учишь барчука? — полюбопытствовал он узнать. — Двадцать рублей. — В год? — Нет, в месяц. — Ой-ли?! Да за что же это так много? — Как за что? Занимаюсь с ним, готовлю в гимназию. Вот скоро ему будет в Москве экзамен. — Ну, а ешь-то ты что? То же, что господа? — Конечно! Что же мне другое есть, когда я с ними и обедаю и ужинаю. — С ними?! — сказал он не

доверчиво и потом решительно прибавил: — Врешь ты, родимый!..“ Из его слов я увидел, как иногда в прежнее время — но, конечно, не в семье Драшусовых — смотрели на учителя...

— „А где ж ты там, парень, живешь? — спросил он меня в другой раз: — в господском доме? — Нет, я живу отдельно, на дворе, в комнате при старой бане. Мне там очень хорошо; тихо, просторно и никто не мешает. Я там и уроки даю. — В бане? — задумчиво сказал старик — и тебе не боязно? Она-то по ночам не ходит? Не пужает тебя? — Кто она? Какая она? — Да, ведь, тут у нас в старые годы, давно уж тому, помещица была, лихая такая: девкам дворовым от нее житья не было. Очень уж она на одну серчала. Косу ей обрезать велела и другое разное такое — совсем со свету сживала. Та, возьми, да с горя и удавись. Суд приехал. В бане ее и „коронили“ — значит потрошили. А к чему это — неизвестно. А потом схоронили за оградой, потому что руки на себя наложила. После нее сундучок с вещами остался, а она была сирота. Так сундучок-то поставили на чердак в бане. Вот у нас на селе и бают, что она по ночам ходит сундук свой смотреть. Ну, как же не боязно?!..“ Выслушав это, я

понял, почему прислуга, когда я вечером желал остаться у себя (я готовился к отложенному на осень экзамену у Бабста из политической экономии и статистики и внимательно изучал Рошера), принося мне чай или молоко, ставила их на крылечке и, постучав в окно, быстро удалялась, несмотря на то, что днем любила заходить ко мне и побеседовать с учителем. Вернувшись к себе, я пошел на чердак и в углу его действительно увидел покрытый пылью старый небольшой сундучок, перевязанный веревкой и запечетанный печатью пронского земского суда. Нужно ли говорить, что в первую же затем ночь мое нервно настроенное воображение заставило меня услышать чьи-то шаги на чердаке? Но затем молодость взяла свое, и несчастная самоубийца уже не тревожила мой крепкий сон.

В другой раз тот же старик рассказал мне с большими подробностями историю другого местного помещика, который зверски обращался со своими крепостными, находя усердного исполнителя своих велений в своем любимом кучере — человеке жестоком и беспощадном. У помещика, ведшего весьма разгульную жизнь, отнялись ноги, и силач-кучер на руках вносил его в коляску и вынимал из нее. У сельского

Малюты Скуратова был, однако, сын, на котором отец сосредоточил всю нежность и сострадание, ненаходимые им в себе для других. Этот сын задумал жениться и пришел вместе с предполагаемой невестой просить разрешения на брак. Но последняя, к несчастью, так приглянулась помещику, что тот согласия не дал. Молодой парень затосковал и однажды, встретив помещика, упал ему в ноги с мольбою, но, увидя его непреклонность, поднялся на ноги с угрозами. Тогда он был сдан не в зачет в солдаты, и никакие просьбы отца о пощаде не помогли. Последний запил, но недели через две снова оказался на своем посту, прощенный барином, который слишком нуждался в его непосредственных услугах. Вскоре затем барин поехал куда-то к соседям со своим Малютою Скуратовым на козлах. Почти от самого Панькина начинался глубокий и широкий овраг, поросший по краям и на дне густым лесом, между которым вилась заброшенная дорога. На эту дорогу, в овраг, называвшийся Чортово Городище, внезапно свернул кучер, не обративший никакого внимания на возражения и окрики сидевшего в коляске барина. Проехав с полверсты, он остановил лошадей в особенно глухом месте оврага, молча, с угрюмым видом, — как расска-

зывал в первые минуты после пережитого барин, — отпряг их и отогнал ударом кнута, а затем взял в руки вожжи. Почуяв неминуемую расправу, барин, в страхе, смешивая просьбы с обещаниями, стал умолять пощадить ему жизнь. — Нет! — отвечал ему кучер — не бойся, сударь, я не стану тебя убивать, не возьму такого греха на душу, а только так ты нам солон пришелся, так тяжко с тобой жить стало, что вот я, старый человек, а через тебя душу свою погублю... — И возле самой коляски, на глазах у беспомощного и бесплодно кричащего в ужасе барина, он влез на дерево и повесился на вожжах.

Выслушав мой рассказ, Некрасов задумался, и мы доехали до Петербурга молча. Он предложил мне довезти меня в своей карете на Фурштадтскую, где я жил, и, когда мы расставались, сказал мне: „я этим рассказом воспользуюсь“, — а через год прислал мне корректурный лист, на котором было набрано: „О Якове верном — холопе примерном“, прося сообщить, „так ли?“ Я ответил ему, что некоторые маленькие варианты нисколько не изменяют существа дела, и чрез месяц получил от него отдельный оттиск той части „Кому на Руси жить хорошо“, в которой изображена эта пронская история в потрясающих стихах.

Мне пришлось несколько раз посетить Некрасова в доме Краевского на Литейной и раза два у него обедать в обществе сотрудников „Отечественных Записок“, где всех оживлял своими веселыми и образными рассказами покойный „друг писателей“ Михаил Александрович Языков. Юмор и подвижность его были особенно ценны в виду его весьма преклонного возраста, а память его просто поражала способностью хранить в себе многое из давно-давно прошедшего. Иногда на вопрос удивленного собеседника: „а сколько вам, Михаил Александрович, лет?“ — он, с комической важностью, горделиво отвечал, пародируя знаменитые слова Людовика XIV: „L'état (лета) — c'est moi! (это я!)“. За этими обедами мне пришлось слышать весьма интересные рассказы хозяина о литературных нравах конца сороковых и первой половины пятидесятых годов и о тех невероятных, но вместе с тем достоверных, издевательствах цензуры над здравым смыслом и трудом писателя, в те времена, „когда была жизнь коротка — для песен лиры — от типографского станка до цензорской квартиры“, и когда поэт отвечал типографскому рассыльному Минаю, приносившему корректуру, испещренную красными крестами и говорившему: „сойдет-де и

так“: — „Это кровь проливается! Кровь моя, ты дурак!“

Тогда же я познакомился с будущей женою Некрасова, Феклой Анисимовной, которую он называл более благозвучным уменьшительным именем — Зины — и к которой обращены многие его предсмертные стихи, полные страдальческих стонов и нежности. От нее веяло душевной добротой и глубокой привязанностью к Некрасову. За обедом, где из женщин присутствовала она одна, Некрасов, передававший какое-нибудь охотничье приключение или эпизод из деревенской жизни, прерывал свой рассказ и говорил ей ласково: „Зина, выйди пожалуйста, я должен скверное слово сказать“ и она, мягко улыбнувшись, уходила на несколько минут. Однажды, сообщая мне о том, что он начал ездить в сопровождении Зины, в водолечебницу доктора Крейзера в Адмиралтействе, он сказал: „после моей водяной операции мы обыкновенно сидим некоторое время на Адмиралтейском бульваре. Это совпадает с временем обычной прогулки государя по набережной Невы, причем, незаметно для него, ему предшествуют и его сопровождают агенты тайной полиции, проживающие в здании Адмиралтейства. Мы уже привыкли их видеть, выходящими на службу.

Однажды один из них вышел в сопровождении жены с ребенком на руках и помолившись на собор Исакия, нежно поцеловал жену и перекрестил ребенка. Это очень растрогало Зину. „Ведь вот, сказала она: шпионина, а душу в себе имеет человечью!“ — Вдова Некрасова после его смерти жила в уединении, в самой скромной обстановке в Саратове, в последнее время нуждаясь и стойко замыкаясь у себя против назойливых покушений разных репортеров. Она умерла в 1914 году, свято чтя память своего мужа.

Иногда Некрасов обращался ко мне с просьбою о совете по тому или другому литературному делу, которое, в дальнейшем своем развитии, могло грозить осуществлением в реальной действительности того, что с таким юмором изобразил он в своем остроумном стихотворении „Суд“. У меня сохранилось его письмо от 7-го апреля 1874 года. „Разрешите, пожалуйста, — писал он, — должны ли мы напечатать прилагаемое объяснение судьи N. N.? И может ли вытти что-либо неприятное для редактора, в случае, если бы мировой судья, не видя объяснения напечатанным, принес жалобу — или нет? Надо заметить, что судья этот, должно быть, скотина старых приказных

времен, ибо наполнил свою заметку кляузами и бранью, которые я откинул. Ответ ваш необходим сегодня. Очень обяжете. Искренно преданный Вам Н. Некрасов".

У Некрасова было много врагов, и на его счет распространялись самые злоречивые слухи, сосредоточиваясь, главным образом, на его крупных выигрышах в карты в Английском клубе. Порожденные этими слухами легенды живут, к сожалению, и по настоящее время в обществе. „Calomniez, calomniez — il en restera toujours quelque chose!" (клевещите, клевещите — что-нибудь да останется). По этому поводу мне пришлось однажды иметь большую беседу с самим Некрасовым.

В 1874 году сильное впечатление в Петербурге произвело возбуждение мною, по должности прокурора, дела о штабс-ротмистре Колемине, содержавшем игорный дом и завлекавшем к себе роскошным угощением обыгрываемую им молодежь, при чем выигрышу велась правильная бухгалтерская запись. В виду полной изобличенности Колемина, я предложил судебному следователю наложить, на основании 512 ст. XIV тома, арест на деньги Колемина, хранившиеся на текущем счету в Волжско-Камском банке в сумме 49.500 рублей

и представлявшие, согласно составленным Колеминым записям, чистый его выигрыш. Арест был наложен, и суд утвердил эту меру. Кто-то, по невежеству юридическому, а может-быть с дурным и злорадным умыслом уверил Некрасова, будто бы достоверно известно, что я намерен возбудить дела о всех лицах, выигравших крупные суммы в общественных собраниях и клубах, и предложить суду отобрать у них эти деньги для обращения их в пользу колонии и приюта для малолетних преступников в окрестностях Петербурга. Встревоженный Некрасов, сознававший, что такая мера могла бы гибельно отразиться на средствах для издания „Отечественных Записок", как-то рано утром пришел ко мне и просил откровенно сказать, грозит ли ему такая опасность. Я, конечно, его разуверил и постарался рассеять его опасения, объяснив всю нелепость дошедшего до него слуха. При этом я подробно рассказал ему про поводы к возбуждению дела о Колемине и выяснил ему, что именно разумеет закон под словами „устройство игорного дома" и как он исторически сложился. Некрасов успокоился и, долго просидев у меня, подробно рассказал мне, как образовались его

чительные средства, возбуждавшие в столь

многих ожесточенную зависть. В своем повествовании, довольно беспощадном к самому себе, он раскрыл предо мною болезненную психологию человека, одержимого страстью к игре, непреодолимо влекущею его на эту рискованную борьбу между счастьем и опытом, увлечением и выдержкой, запальчивостью и хладнокровием, где главную роль играет не выигрыш, не приобретение, а своеобразное сознание своего превосходства и упоение победы...

Рассказы о „нечистой игре" Некрасова были несомненной клеветою,— такою же, как стремление представить его бессердечным эгоистом и человеком, двулично драпирующимся в тогу друга народа и служителя „музы мести и печали", в то время, когда до народных скорбей ему в сущности нет никокого дела, и он, широко тратя легко достающиеся деньги на себя, остается глух и слеп к чужому горю и несчастью. Из рассказов ряда писателей, а также его сестры, женщины правдивой до суровости, мне были известны нередкие случаи проявления им доброты и даже великодушной незлобивости по отношению к чуждым ему людям. Его прекрасные, внимательные и участливые отношения к сотрудникам, его отзывчивая

готовность „подвязывать крылья“ начинающим даровитым людям и его трогательная нежность к сестре служат лучшим опровержением шипенья злобы, которая и при жизни его и по смерти прикрывалась услужливыми словами „говорят, что...“ — „Несть человек, аще поживет и не согрешит. Ты один кроме греха“... говорится в чудном ритуале нашей панихиды. Не „прегрешения“ важны в оценке нравственного образа человека, а то, был ли он способен сознавать их и глубоко в них каяться. Стоит вспомнить вырывавшиеся из глубины души Некрасова, орошенные внутренними слезами, крики, которыми он оплакивал случаи своего кратковременного падения или минутного малодушия, когда ему приходилось сознавать, что „погрузился в тину нечистую — мелких помыслов, низких страстей“ и что „ликует враг — молчит в недоуменьи — вчерашний друг, поникнув головой...“ — стоит их вспомнить, чтобы видеть, что он был человеком искренним.

Последние скорбные стихи были отголоском глубоко уязвивших Некрасова нареканий по поводу его стихотворного приветствия графу Муравьеву - Виленскому, диктаторская власть которого грозила в 1866 году прекращением наиболее выдающихся журналов. Слишком до-

верчиво полагаясь на умягчающее влияние своего поступка на сурового „усмирителя“, Некрасов жестоко ошибся. „Современник“, коего он был редактором, и „Русское Слово“ окончили свое существование, но несомненно, что он не преследовал никаких личных целей, а рисковал своей репутацией, чтобы спасти передовые органы общественной мысли от гибели.

Тот, кто наблюдал жизнь, кому приходилось иметь дело с живыми людьми, должен, мне кажется, признать, что существует большая разница между человеком дурным и человеком, впавшим в порочную слабость или увлеченным страстью. Нередко под оболочкой почти безупречной „умеренности и аккуратности“, дающей повод к лицемерному самолюбованию, таится несомненно дурной человек, и, наоборот, иной игрок, пьяница или „явный прелюбодей“, которого наши старые судопроизводственные законы не допускали даже до свидетельства на суде,— вне пределов своей порочной склонности бывают людьми великодушными, благородными и добрыми, в особенности добрыми. Недаром Достоевскому приписываются слова, что у нас добрые люди обыкновенно пьяные люди, и пьяные люди почти всегда добрые

люди... Литературные и нравственные заслуги Некрасова пред русским обществом так велики, что пред ними должны совершенно меркнуть его недостатки, даже если бы они и были точно доказаны. Это прекрасно выразил покойный Боровиковский в стихах „Его судьям", в которых, обращаясь к „непреклонному моралисту, сующему с миной величавой его ошибок скорбный лист", он говорит: „ты сосчитал на солнце пятна и проглядел его лучи!"...

Во время долгой и тяжкой предсмертной болезни Некрасова я был у него несколько раз и каждый раз с трудом скрывал свое волнение при виде того беспощадного разрушения, которое совершал с ним недуг. Последнее время он мог лежать только ничком, в очень неудобной позе, под одной простыней, которая ясно обрисовывала его страшно исхудалое тело. Голос был слаб, дрожащая рука — холодна, но глаза были живы, и в них светилось все, что оставалось от жизни, истерзанной страданием. В последний раз, когда я его видел, он попенял мне, что я редко к нему захожу. Я отчасти заслужил этот упрек, но я знал от его сестры, что посещения его утомляют, и при том был в это время очень занят, иногда не имея возможности дня по три под

ряд выйти из дому. На мои извинения он ответил, говоря с трудом и тяжело переводя дыхание: „Да что вы, отец! — Я ведь это так говорю, я ведь и сам знаю, что вы очень заняты, — да и всем живущим в Петербурге — всегда бывает некогда. Да, это здесь роковое слово. Я прожил в Петербурге почти сорок лет и убедился, что это слово — одно из самых ужасных. Петербург — это машина для самой бесплодной работы, требующая самых больших — и тоже бесплодных — жертв. Он похож на чудовище, пожирающее лучших из своих детей. И мы живем в нем и умираем, не живя. Вот я умираю — а, оглядываясь назад, нахожу, что нам все и всегда было некогда. Некогда думать, некогда чувствовать, некогда любить, некогда жить душою и для души, некогда думать не только о счастьи, но даже об отдыхе, и только умирать есть время“...

Хотя и давно ожиданная, вследствие сообщений газет о трудной операции, произведенной Бильротом, и о тяжких страданиях, смерть Некрасова произвела в Петербурге, да и во многих местах России, сильное впечатление, заставила встрепенуться во многих любовь к угасшему и вызвала неподдельное чувство боли, заставив на время смолкнуть на-

веты недругов и злобные шуточки лицемерных друзей. Это настроение нашло себе яркое выражение в прекрасных стихах того же Боровиковского, написанных накануне похорон и начинавшихся словами:

Смолкли поэта уста благородные.

Самые похороны были очень многолюдны и, сколько помнится, — были вторыми неофициальными похоронами в Петербурге, в которых — после торжественных похорон знаменитого артиста Мартынова 13 сентября 1860 г.— приняли участие с горячим порывом самые разнообразные круги общества. Обстановка этих похорон и характер участия в них молодого поколения указывали, что ими выражается не только сочувствие к памяти покойного, но и подчеркивается живое и активное восприятие основного мотива его поэзии. Надо, впрочем, заметить, что по торжественности и внешнему, свободно установленному, порядку эти похороны значительно уступали тому, что пришлось впоследствии видеть при похоронах Достоевского и отчасти Тургенева. Мне вспоминается вечер 30-го декабря 1877-го года—день похорон Некрасова — проведенный в доме редактора „Вестника Европы“. Все были полны одним

чувством, но с особой силой оно сказывалось у Кавелина — большого поклонника покойного поэта, любившего его „за каплю крови, общую с народом“.

Русский человек до мозга костей, знаток быта и глубокий исследователь явлений истории своего народа, Кавелин нежно и беззаветно любил этот народ. Он светло смотрел вперед, не смущаясь за будущую роль своего отечества. Ему нравилось, когда его называли в этом отношении оптимистом. „Да, я оптимист, говаривал он с тихою и уверенною радостью во взоре,—я верю, что какие бы уродливые и болезненные явления ни представляло русское общество — простой русский человек поймет свои задачи, разовьет свои богатые духовные силы и вынесет на своих плечах Россию“. Он не отрицал темных и грубых сторон нашего сельского быта, на котором, как на устоях, должна, по его мнению, стоять Россия,—но он восставал против поспешных и мрачных обобщений. „Это недостатки — недостатки молодости, не перебродившего переходного положения, наносная и поверхностная плесень“, говаривал он... „Сердцевина здорова, и ее живительные соки залечат больные места в коре; пусть только дадут им выход, не мудр-

ствуя лукаво, не навязывая народу чуждых ему учреждений и не заключая его в бюрократические тиски... Надо верить в русский народ, надо его любить — без этого жить нельзя!“ Он часто доказывал, что о народе следует судить не по его нравам и привычкам, а по его идеалам, — и с удовольствием повторял процитированное пред ним однажды изречение Монтескье: „Le peuple est honnête dans ses gouts, sans l'être dans ses moeurs...“ Всякий истинный слуга народа был ему дорог. Понятно, как ему, с этой точки зрения, был близок усопший поэт. Он умел так настроить и направить довольно многочисленный кружок, что весь вечер был всецело посвящен памяти усопшего. В растроганном настроении внимали все Кавелину, читавшему слегка дрожащим голосом и с влажными глазами „Тишину“ и „Несчастных“, в которых с такой силой и красотой вылилась любовь Некрасова к родине и к русскому человеку.

Первым пунктом завещания Некрасова, составленного в январе 1877-го года и утвержденного петербургским Окружным Судом 20-го января 1878-го года, в бытность мою председателем этого суда, все авторские права, рукописи и частные письма к нему разных лиц завещаны в собственность Анне Алексеевне

Буткевич, а именье близ села Чудово при усадьбе Лука оставлено в собственность жене с тем, чтобы она выделила из него половину незастроенной земли брату завещателя, Константину. Анна Алексеевна купила у вдовы брата доставшуюся ей усадьбу с землею. В этой усадьбе проводил покойный часто подолгу время в последние десять лет своей жизни, охотясь и работая; здесь, между прочим, написал он значительную часть своей поэмы „Кому на Руси жить хорошо“. Анна Алексеевна относилась с благоговением к памяти брата и издала его стихотворения в 1879-м году в четырех томах, в подготовку которых к печати вложила много любви и личного труда. 1881-м году она повторила издание в одном большом и компактном томе. Она умерла в 1882-м году, и все три года ее жизни, прошедшие после смерти брата, были сплошным служением его памяти. В эти годы я сильнее прежнего сблизился с ней, в особенности после того, как мне удалось вывести ее из довольно затруднительного положения, вызванного ее несколько запутанными личными и семейными отношениями. „Получив ваше письмо,—писала она мне в апреле 1879 года,—я хотела сейчас ехать к вам, чтобы лично поблагодарить вас

за спокойствие, которое вы мне устроили, но боязнь отвлечь вас от занятий удержала меня от демонстрации моей радости. Вы связали оказанную вами услугу с воспоминанием о моем брате... Да! в этом вы заменили мне его, и вы не поверите, каким вы стали дорогим для меня человеком". Она разбирала со мною бумаги и черновые наброски стихотворений брата. В двадцатых числах января 1882 года она заболела тяжелым плевритом и, пригласив меня к себе, просила быть душеприказчиком и позаботиться об устройстве в Луке училища в память брата. Слабое пожатие ее горячечной руки было последним для меня в ее жизни, которая угасла 20-го февраля.

С грустным чувством приходится завершить мои отрывочные воспоминания повествованием о судьбе задуманного Анною Алексеевной увековечения памяти ее брата.

Согласно ее завещанию, на устройство и содержание этого училища должны были быть переданы мне деньги, вырученные книжным складом Стасюлевича от продажи изданных ею сочинений брата. Весною 1882 года, я вступил в сношения с новгородским земством о передаче ему по дарственной записи усадьбы „Лука" со всею, находящеюся в ней, движимостью, с

условием устроить в ней школу имени Некрасова, при условии обещания представителей земства сохранить в неприкосновенном виде его кабинет с письменным столом, креслом и превосходным портретом работы Ге. Земство приняло пожертвование с благодарностью и вскоре ассигновало на поддержание школы 500 рублей ежегодно, но затем начались разные затруднения и проволочки как относительно типа школы и ее назначения, так и относительно большего ее материального обеспечения. Для увеличения последнего я принял на себя ходатайство пред министром государственных имуществ, М. Н. Островским, об удовлетворении просьбы земства о ежегодной субсидии этой школе, если она будет сельско-хозяйственного типа. Островскому, который в это время круто стал отрешаться от своих прежних взглядов и литературных симпатий, не было симпатично название школы, но, после некоторых колебаний, он согласился, и школе со дня ее открытия было назначено пособие в 1000 рублей ежегодно. Затем, вследствие новых заявлений земства о недостаточности средств, я вошел в 1884 году в сношение с А. А. Краевским и М. Е. Салтыковым о передаче новгородскому земству шести тысяч

шестисот семидесяти трех рублей, собранных редакцией „Отечественных Записок“ на устройство школы в память Некрасова в месте его родины. Я был уверен, что эти деньги вместе с арендной платой с земли при Луке, субсидиями от министерства государственных имуществ и от земства и с 4.500 рублями, вырученными от продажи сочинений Некрасова, могут наконец обеспечить существование Некрасовской школы. К сожалению, какой-то злой рок тяготел над открытием этой школы, которая в проекте переделывалась из сельско-хозяйственной в ремесленную и наоборот, и предназначалась к открытию то в Луке, то в имении одного из местных помещиков, а в действительности не была открыта в течение девяти лет. Это побудило меня обратиться к председателю губернской земской управы с письмом следующего содержания: „М. Г. — Вследствие состоявшегося в 1882 году между мною, как душеприказчиком вдовы полковника Анны Алексеевны Буткевич, и представителями новгородского губернского и уездного земства соглашения — мною было передано земству для устройства школы в память Н. А. Некрасова — завещанное г-жею Буткевич имение, состоящее из дома и 82 десятин земли при усадьбе Лука,

Александру Александровичу Андрееву

Разрешите поблагодарить Вас за ваше письмо, присланное мне Судебной Палатой? Я сожалею, что не могу сообщить Вам ничего определенного для редакции (в случае если мне будет предложена Судебная хроника) [illegible]

Я думаю [illegible], что Вас удовлетворил Андрей Кровавенко пусть Ваше имя [illegible]*

Впрочем, и напечатать [illegible] строк не [illegible].

Не можете ли Вы [illegible] Сегодня; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Ваш [illegible]

* Надо заметить, что судья сказал, должно быть; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

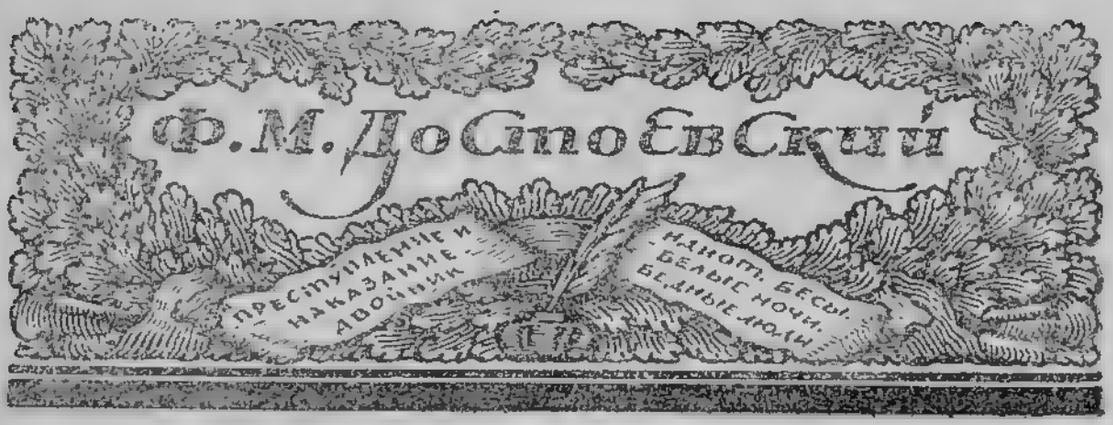
близ Чудова, и препровождены затем — 11.173 р. При возникшей, по поводу устройства этой школы, переписке между мною и гг. председателями губернской и уездной земских управ — я неоднократно высказывал, что, в качестве душеприказчика А. А. Буткевич, я не имею никаких возражений ни против типа или характера школы, ни против местности, в которой земству угодно будет ее открыть, озабочиваясь лишь скорейшим выполнением желаний завещательницы, хотевшей связать память о своем брате с посильною пользой народному образованию в местности, где последний часто живал и создал многие из своих поэтических произведений. К сожалению, однако, школа имени Некрасова до настоящего времени не учреждена, а появляющиеся в повременных изданиях известия заставляют предполагать, что при настоящем положении вопроса нельзя даже и предвидеть с точностью времени ее открытия, несмотря на то, что, помимо земли и дома, на этот предмет у земства имеется уже капитал, превышающий 14 тыс. р. с. Не считая себя в праве входить в обсуждение причин и условий такого неблагоприятного для осуществления воли г-жи Буткевич положения дела, я не могу, однако, оставлять обязанно-

сти, возложенной ею на меня, неисполненною и ограничиться одним лишь формальным исполнением ее воли путем передачи ее имения и завещанных ею средств земству, — тем более, что 6.673 р. испрошены мною у гг. Салтыкова и Краевского именно для устройства задуманной г-жею Буткевич школы. Поэтому и в виду предстоящего губернского земского собрания, имею честь обратиться к вам с покорнейшею просьбой оказать зависящее с вашей стороны содействие — к безотлагательному и действительному разрешению вопроса о Некрасовской школе — или же, буде новгородское земство считает принятые на себя по дарственной записи 1883 г. обязательства невыполнимыми — к возбуждению вопроса о возвращении мне всего предоставленного для устройства школы, дабы я мог передать эти средства министерству народного просвещения с тою же целью".

Наконец, в 1892 году некрасовская сельско-хозяйственная школа была открыта при доме поэта в Луке, при чем из вещей Некрасова, вследствие плохого надзора, как удостоверял в „С.-Петербургских Ведомостях" за 1902 г. Жилкин, остался в доме лишь его портрет. По последующим известиям, если ве-

рить корреспонденции „С.-Петербургских Ведомостей“, в 1904 году школа находилась в таком неприглядном виде, что очередное уездное земское собрание постановило: признать школу в настоящем ее виде нежелательною и поручить управе разработать вопрос или о реорганизации ее, или о совершенном закрытии, передав портрет поэта в Музей Императора Александра III и заменив его копией. В 1906 году — школа закрыта вовсе, а усадьба Некрасова сдана в аренду подрядчику рабочей артели с ближайшей плитной ломки...

ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ



Весною 1845 года начинающий, впоследствии очень известный, писатель Григорович взял у своего сотоварища по воспитанию в Инженерном Училище рукопись его первого литературного труда и отнес ее к Некрасову, собиравшему материалы для „Петербугского Сборника“.

Чтение рукописи привело их в восторг и вызвало у сдержанного вообще Некрасова слезы. С известием об этом, впечатлении, самым ранним утром, Григорович поспешил к автору, а затем вместе с Некрасовым отправился к знаменитому русскому критику.—„Белинский!“—вскричал один из них, входя,—„новый Гоголь народился!“

„Эк у вас Гоголи-то как грибы растут“,— сурово сказал Белинский, однако взял рукопись, а вечером в тот же день пришел к ним сказать, что совершенно восхищен этим произведением и непременно желает видеть молодого автора, которого затем приветствовал самым задушевным образом и, так сказать, благословил на дальнейшую писательскую деятельность. Этот молодой автор был Достоевский, а произведение его называлось „Бедные люди“, в котором затронутые Гоголем душевные переживания скромного труженика „унижаемого и оскорбляемого“ и людьми и судьбой, изображены с гораздо бо̀льшей широтой и берущей за сердце глубиной.

Гейне говорит, что человек в разгаре своей деятельности похож на солнце. Чтобы его рассмотреть, как следует, надо видеть его при восходе и при закате. То же следует сказать и про деятельность выдающегося человека. Восход и закат Достоевского, как писателя, были яркие и приковывавшие к себе общее внимание, но разгар его деятельности был полон внешних и внутренних страданий, нужды, болезни и отсутствия справедливости в отношении к нему критики. Улыбнувшись ему и даже вскружив ему голову блестящим успехом, судьба

повела его затем тяжким и тернистым путем, сначала на Семеновский плац, заставив пережить муки ожидания смертной казни, потом по долгой „Владимирке“ в Сибирскую каторгу и Оренбургские линейные батальоны. После „Бедных людей“ талант его, как это встречается у многих писателей, стал как-будто постепенно слабеть, гаснуть и, под влиянием материальной нужды, грозить разменяться на мелкую монету вынужденного заработка. Но пребывание в „Мертвом доме“ не озлобило его, не убило для жизни и не заставило возгордиться, доведя, как это бывало у некоторых, до самолюбования. Он вернулся из каторги примиренным с жизнью, просветленный пониманием смысла и значения последней. В душе надломленных, но не обезличенных товарищей по острогу и даже в самых закоренелых злодеях, он сумел найти признаки человечности. Ему было дано проникновенно затронуть роковые и противоположные вопросы тяжкого отсутствия уединения и насильственного одиночества. Любовь к страждущим и сострадание к людям стали затем господствующей и несмолкающей нотой в его творчестве.

В его „Мертвом Доме“ далекая, туманная и малоизвестная сибирская каторга встала в

живых образах и со всеми своими сторонами, не превзойденная никакими последующими описаниями, хотя бы и очень талантливыми. Как бледны и односторонни на ряду с „Мертвым Домом“ прославленные страницы „Моих темниц“ Сильвио Пеллико, и какой верой в лучшие свойства человека веет от дышащих правдой заметок и наблюдений Достоевского, сделанных им в русской „Citta dolente“!

По возвращении к обычной жизни ему пришлось писать свои сочинения, созревшие в чуткой и „взыскующей града“ душе в тягостных условиях. Создавая свой удивительный по богатству и глубине содержания роман „Преступление и наказание“, он писал своему брату: „работа из-за денег задавила и съела меня. Эх, хоть бы один роман написать, как Толстой или Тургенев, — не на-скоро и не на-спех“. И так пришлось ему работать всю жизнь, испытывая высокомерное к себе отношение некоторых из редакторов влиятельных журналов,—оценку своего таланта, как „жестокого“ и упреков в „мучительстве“ читателя (как-будто совесть — „незваный гость, докучный собеседник, заимодавец лютый“,—которую пробуждал Достоевский в читателе, не бывает жестока?) Не даром тонкий ценитель его дарования, Вогюэ, назы-

вает его „собирателем русского сердца, умевшим окунуться в скорбь жизни“. Эта скорбь чувствуется даже в названиях его произведений: „Мертвый дом“, „Преступление и наказание“, „Униженные и оскорбленные“, „Идиот“, „Бедные люди“, „Записки из подполья“ и т. д., и в его языке тревожном, неровном, страстном, напоминающем перебои больного сердца, и наконец, в частом возвращении к одним и тем же картинам, заставляющим вспомнить слова поэта „о память сердца! ты сильней — рассудка памяти печальной“.

Нужно ли говорить о смелости созданных им образов, с их глубокими сомнениями и их восторженной верой, о переходах от описаний умиляющих душевных проявлений к изображению страстей и пороков в их крайнем развитии, причем он идет к павшим, погрязшим и несчастным с чувством жалости, не брезгая ими и не гнушаясь, а не разглядывая их, как это иногда делается в современной беллетристике, с холодным любопытством в увеличительное стекло.

В январе 1866 года я зашел к А. Н. Майкову, с которым познакомился еще в Москве, во время моего студенчества, когда он посещал небольшой кружок студентов петербург-

ского университета, перешедших в Москву после закрытия последнего — и группировавшихся вокруг филолога Н. Н. Куликова — милого, доброго и разностороннего человека. Занятые лекциями и даванием уроков, мы собирались обыкновенно по субботам и засиживались до поздней ночи в оживленной беседе о всяких „злобах дня“. Никого из девяти членов этого кружка, кроме меня, нет уже в живых. Бывая в Москве, Майков любил заходить пить скромный студенческий чай на наши субботние сборища и охотно читал нам свои новые, еще ненапечатанные произведения. Так, между прочим, нам пришлось слышать в его мастерском и одушевленном чтении „Смерть Люция“, в первоначальной редакции, которая оставляет далеко за собою позднейшую.

Майков встретил меня под впечатлением прочитанной им в только-что вышедшей книжке „Русского Вестника“ первой части „Преступления и наказания“. „Послушайте, сказал он мне,—что я вам прочту. Это нечто удивительное!“ и заперев дверь кабинета, чтобы никто не помешал, он прочел мне знаменитый рассказ Мармеладова в питейном заведении, а затем отдал мне на несколько дней и самую книжку. До сих пор, по прошествии стольких

лет, при воспоминании о первом знакомстве с этим произведением, оживает во мне испытанное тогда и ничем не затемненное и неизменное чувство восторженного умиления, вынесенного из знакомства с этой трогательной вещью. Великий художник с первых слов захватывает в ней своего читателя, затем ведет его по ступеням всякого рода падений и, заставив его перестрадать их в душе, мирит его в конце концов с падшими, в которых сквозь преходящую оболочку порочного, преступного человека сквозят нарисованные с любовью и горячей верой, вечные черты несчастного брата. Созданные Достоевским в этом романе образы не умрут, не только по художественной силе изображения, но и как пример удивительного умения находить „душу живу“ под самой грубой, мрачной, обезображенной формой — и, раскрыв ее, с состраданием и трепетом показывать в ней то тихо тлеющую, то распространяющую яркий, примиряющий свет искру Божию.

Критика того времени, однако, не благоволила к Достоевскому. Его роману не было посвящено, сколько мне помнится, ни одного серьезного разбора, в то время, как произведениям „идейных беллетристов“, имена кото-

рых ныне „Ты, Господи, веси“, оказывалось милостивое внимание. В некоторых пренебрежительных отзывах о романе даже указывалось, что это „клевета на молодое поколение“, которое, будто бы, воплощено в Раскольникове, представляющем из себя простого убийцу для грабежа. Находились даже люди, с развязностью утверждавшие, что Достоевский написал „донос на молодежь“. — Но „il tempo e un galantuomo“ [1]) говорят итальянцы — и оно поспешило действительными событиями жизни подтвердить творческий вымысел автора „Мертвого Дома“ и „Униженных и Оскорбленных“. 12-го января 1866 года, когда первая часть романа уже была напечатана, но еще не вышла в свет („Русский Вестник“ всегда выходил со значительным опозданием) — в Москве студент Данилов зарезал ростовщика и его служанку, — а чрез тринадцать лет то же самое по отношению к своему кредитору и его прислуге совершил молодой и блестящий гвардейский офицер Ландсберг. Это умышленное и злостное непонимание глубокого смысла „Преступления и наказания“, которому лишь в восьмидесятых годах пришлось наконец, быть оцененным по

---

[1]) „Время — порядочный человек“.

достоинству не только у нас, но в западно-европейской литературе, — в то время чрезвычайно волновало мою молодую и еще не приглядевшуюся к житейской несправедливости душу и было даже однажды причиною резкого спора с одним из грубых и невежественных порицателей „доносчика“, спора, едва не окончившегося у барьера [1]).

Через много лет, в начале семидесятых годов в бытность мою прокурором окружного суда в Петербурге, сестра моего друга Куликова, лично знакомая с Достоевским, написала мне, что Федор Михайлович находится в крайне затруднительном положении. Он был в это время редактором „Гражданина“ — имевшего другой характер, чем позднейшая постыдная газета того же имени, и допустил напечатание в нем сведения о путешествии государя, не испросив на то предварительного

---

[1]) Достаточно упомянуть, как сильно отразилось „Преступление и Наказание“ на приемах и содержании некоторых произведений Габриэля Д'Аннунцио и Поля Бурже, — указать на критические отзывы Вогюэ, на разбор его в социально-криминологических очерках Ферри, на лекциях французского судебного деятеля Аталена, говорящего своим слушателям: „читайте, читайте Достоевского“ и т. п.

разрешения министра двора, как то требовалось цензурными правилами, вследствие чего суду пришлось приговорить его к аресту на две недели на гауптвахте. Приговор, войдя в законную силу, был обращен к исполнению. Между тем, предпринятое Достоевским лечение и разные другие обстоятельства личного характера делали для него это кратковременное лишение свободы до крайности неудобным именно в то время, когда приговор подлежал осуществлению. Отвечая Куликовой, я просил ее передать Федору Михайловичу, что приговор будет обращен к исполнению лишь тогда, когда он сам найдет это по своим соображениям удобным. За любезным письмом Достоевского, с выражением благодарности, последовало его посещение, отвечая на которое, я убедился воочию, в какой скромной и даже бедной остановке жил, мыслил и творил один из величайших русских писателей. При этом нашем свидании он вел довольно долгую беседу, очень интересуясь судом присяжных и разницею в оценке преступления со стороны городских и уездных присяжных.

15 октября 1876 года в петербургском окружном суде слушалось дело крестьянки Екатерины Корниловой, которая будучи бере-

менной на четвертом месяце, раздраженная упреками своего мужа и замечаниями, что первая его жена была лучшею „хозяйкою“, выбросила, на зло ему, из окна четвертого этажа свою шестилетнюю падчерицу каким-то чудом оставшуюся живою и отделавшуюся лишь крайним испугом. Дело это чрезвычайно заинтересовало Достоевского. В удивительных по глубине психологического анализа, по знанию природы русского человека и по возвышенному и вместе трезвому взгляду на задачи суда строках своего „Дневника Писателя“ он выразил сомнение во вменяемости Корниловой в виду частых ненормальностей в душевных движениях и порывах беременных. Рисуя, со свойственным ему знанием народного быта, сцену предстоящего расставания отца уцелевшей девочки с приговоренной на каторгу женой с новорожденным младенцем на руках, он спрашивал: „а неужели нельзя теперь смягчить как-нибудь этот приговор? Неужели никак нельзя? Право, тут могла быть ошибка“... — Вместе с тем он стал горячо хлопотать о таком смягчении и бывать для этого у меня в министерстве юстиции, причем ему было мною обещано всевозможное содействие в этом отношении. Но давать ход во-

просу о смягчении Корниловой наказания не пришлось. Решение присяжных было кассировано сенатом, и при вторичном рассмотрении дела, с вызовом компетентных врачей-экспертов, она была оправдана.

Замечательно, что через двадцать лет Л. Н. Толстой в своем романе „Воскресенье" в уста крестьянина, сопровождающего в Сибирь свою жену, осужденную за покушение на отравление его, влагает глубоко трогательный рассказ о душевном состоянии этой женщины, „присмолившейся" впоследствии к мужу.

Строки, которыми Достоевский приветствовал оправдание Корниловой в своем „Дневнике Писателя", дышат самой горячей, захватывающей радостью и справедливой гордостью человека, одиноко поднявшего голос против совершившейся ошибки.

Три рода больных, в широком и в техническом смысле слова, представляет жизнь, в виде больных волею, больных рассудком, больных, если можно так выразиться, от неудовлетворенного духовного голода. О каждом из таких больных Достоевский сказал свое человечное веское слово в высоко художественных образах. Едва ли найдется много научных изображений душевных расстройств, которые могли

бы затмить их глубоко верные картины, рассыпанные в таком множестве в его сочинениях. В особенности разработаны им отдельные проявления элементарных расстройств психической области—галлюцинации и иллюзии. Стоит припомнить галлюцинации Раскольникова после убийства закладчицы или мучительные иллюзии Свидригайлова в холодной комнате грязного трактира в парке. Провидение художника и великая сила творчества Достоевского создали картины, столь подтверждаемые научными наблюдениями, что, вероятно, ни один психиатр не отказался бы подписать под ними свое имя, вместо имени поэта скорбных сторон человеческой жизни.

Вскоре после дела Корниловой Достоевский снова появился в стенах министерства юстиции. Он в это время уже приобрел обширное влияние на молодежь и на всякого рода „униженных и оскорбленных", без малодушной лести первой и без сентиментальной потачки тому дурному, что иногда встречалось во вторых. К нему шли за советом, утешением, нравственною помощью,—ему поверяли свои сомнения и терзания, ему открывали омраченную или смущенную душу... Некто А. Бергеман—добрая и отзывчивая на людское горе женщина—обратилась к нему в

декабре 1876 года, прося его содействия и совета в деле спасения одиннадцатилетней девочки, брошенной матерью на попечение развратного и пьяного отставного солдата, с которым ей самой жить „стало не в моготу“. Старик посылал девочку собирать милостыню, сам поджидая жатвы в ближайшем кабаке и нещадно колотя голодного и иззябшего ребенка, если принесенного оказывалось мало. Дальнейшая судьба, ожидавшая девочку, была ясна и несомненна, тем более, что мать, работавшая на бумагопрядильной фабрике, разысканная г-жею Бергеман, рассказала ей, что муж уже обесчестил ее старшую внебрачную дочь и хвастался, что сделает то же и с бедной Марфушей (так звали девочку), когда она „поспеет“... Достоевский и за это дело принялся горячо и с сосредоточенною настойчивостью, доставляя мне необходимые справки и присылая полученные им сведения. Помочь ему и г-же Бергеман в их благородном беспокойстве за девочку было довольно трудно, так как в то время ничего подобного „Обществу защиты детей от жестокого обращения“ не существовало. После личных сношений с прокурором и с градоначальником, дело кончилось однако тем, что девочка была освобождена от своего мучителя и развратителя. Попечением г-жи Бергеман она была

помещена сначала в Елисаветинскую детскую больницу, а после того, когда немного укрепилась, в детский приют.

Достоевского очень интересовала колония для малолетних преступников на Охте, за пороховыми заводами, и по его желанию я свез его туда в один из летних дней 1877 года.

В первоначальном устройстве колонии, открытой в конце 1871 года, было немало недостатков. Она разделялась на собственно колонию (земледельческую) и на ремесленный приют. Первое время каждое из этих учреждений было вверено особому лицу в качестве совершенно самостоятельного руководителя. Связующего и объединяющего звена между ними не было, и каждый из двух весьма известных педагогов, поставленных во главе приюта и колонии, расходясь друг с другом во взглядах, проводил в жизнь свою теорию воспитания. Вследствие этого образовались две пограничные области, разделенные, сколько помнится, лишь небольшим ручьем или канавкой, резко различные по своему устройству и порядку управления. В одной малолетние почти не чувствовали над собою твердой власти и, образуя нечто в роде маленького, своеобразного суда присяжных, сами определяли, в случае проступков товарищей, их виновность (и, надо сказать,

почти всегда справедливо и всегда строго):— в другой существовала осязательная дисциплина, и наказания налагались руководителем. В одной уборка комнат, топка печей и все хозяйственные работы исполнялись питомцами, старшим из которых разрешалось курение,—в другой эти работы исполнялись наемными слугами, и курение было воспрещено безусловно. В одной господствовали—руководительство и наставление, в другой—указание и приказание. Можно себе представить, какую неустойчивость представляло при этом воспитание питомцев, постоянно входивших и даже вводимых в общение между собою. И тем не менее, по идее своей, колония была прекрасным учреждением, и открытие ее составляло один из первых шагов благородной деятельности русского общества по исправлению и постановке на путь честного труда тех несчастных, к которым, вследствие грустных условий их детской жизни, уже успело привиться преступление. В создание колонии вложил массу труда, хлопот, затрат и самой горячей любви известный юрист-практик и один из составителей Судебных Уставов, сенатор Михаил Евграфович Ковалевский. Он принимал непосредственное, живое участие в устройстве колонии, в горестях и радостях ее

пестрого населения. Библиотека, мастерския, отдельные домики и красивая в своей простоте церковь—все это устроено первоначально под его руководством и надзором. Колония, где все его знали и любили, относясь к нему доверчиво и просто, долго была предметом его постоянной заботы, местом его отдыха и его любимым детищем. В свободное время он проводил там целые дни, изучал характеры отдельных „колонистов", вводил и обсуждал разные хозяйственные меры. Когда в колонии устраивался на праздниках домашний театр или какое-нибудь развлечение для детей, сдержанный и с виду холодный судебный сановник, окруженный шумливою толпою питомцев колонии, радовался детскою радостью и бывал счастлив, когда кто-нибудь приезжал ее с ним разделить... Ковалевский сам сознавал недостатки в устройстве колонии и непригодность двойственности последнего, но, с одной стороны, он не хотел обидеть твердой критикой ни одного из двух педагогов, руководивших делом, к которому они относились с любовью и увлечением,—а с другой—он находил, что торопливость реформы может не дать проявиться поучительным плодам вполне выясненного опыта. Впоследствии двоевластие в колонии выразилось в таких крайних

разногласиях между „соправителями“, что на место их пришлось призвать новое лицо--на началах единовластия. Оно исподволь стало водворять новые порядки, но при посещении колонии Достоевским старый строй был, во многих отношениях, еще в силе.

Достоевский внимательно приглядывался и прислушивался ко всему, задавая вопросы и расспрашивая о мельчайших подробностях быта питомцев. В одной из больших комнат он собрал вокруг себя всю молодежь и стал расспрашивать ее и беседовать с нею. Он давал ей ответы то на пытливые, то на наивные вопросы, но мало-помалу эта беседа обратилась в поучение с его стороны, глубокое и вместе вполне доступное по своему содержанию, проникнутое настоящею любовью к детям, которая так светит со всех страниц его сочинений, говорящих о „малых сих“... Его иногда прерывали и вступали с ним в спор, но слушали, конечно, даже и не подозревая, кто он, с напряженным вниманием, дав раза два подзатыльник одному из шаловливых и нетерпеливых слушателей. Он произвел сильное впечатление на всех собравшихся вокруг него,—лица многих, уже хлебнувших отравы большого города, стали серьезными и утратили напускное выражение насмешки и того молоде-

чества, которому „на все наплевать“; — глаза некоторых затуманились.

Когда мы вышли, чтобы пойти осмотреть церковь, все пошли гурьбою с нами, тесно окружив Достоевского и наперерыв сообщая ему о своих житейских приключениях и о проделках и взглядах на порядки колонии своих товарищей. Чувствовалось, что между автором скорбных сказаний о жизни и ее юными бессознательными жертвами установилась душевная связь и что они почуяли в нем не любопытствующего только посетителя, но и скорбящего друга.

Церковь, довольно обширная, с простыми деревянными, ничем не обделанными стенами внутри, была обильно снабжена иконами. Ковалевский выпросил для нее образа, похищенные или почему-либо отобранные у старообрядцев, хранившиеся много лет без востребования или возвращения, в качестве вещественных доказательств, в кладовых упраздненных судебных мест старого устройства. С икон, развешанных по стенам, смотрели коричневые лики и тощие условные фигуры старого письма, в одеждах „празелень“ и с бородами „до чресл“, окруженные неправдоподобными горами, среди которых ютились не менее странные города и

обители. Но иконостас был новый, расписанный красивыми традиционными изображениями во вкусе итальянской школы.

Когда мы поехали назад в город, Федор Михайлович долго и сосредоточенно молчал, а затем мягко сказал мне: „Не нравится мне эта церковь. Это музей какой-то! К чему это обилие образов? Для того, чтобы подействовать на душу входящего, нужно лишь несколько изображений, но строгих, даже суровых, как строга должна быть вера и суров долг христианина. Да и напоминать они должны мальчику, попавшему в столичный омут и успевшему в нем загрязниться, далекую деревню, где он был в свое время чист. А там в иконостасе обыкновенно образа неискусного, но верного преданиям письма. Тут же в нем все какая-то расфранченная итальянщина. Нет, не нравится мне церковь... Да и еще не нравится — прибавил он — эта искусственная и непонятная детям из народа манера говорить им вы, — оно, быть может, по-нашему, по-господскому, и вежливей, — но холоднее, гораздо холоднее. Вот я им говорил всем ты, а ведь проводили они нас тепло и искренно. Чего им притворяться? да и непритворны они еще пока — ни в добром, ни в злом“... И действительно „колонисты“ про-

вожали его шумно и доверчиво, окружив извозчика, на которого мы садились, и крича Достоевскому: „Приезжайте опять! непременно приезжайте! Мы вас очень будем ждать“...

В 1880 году в Москве состоялось давно жданное открытие памятника Пушкину, совпавшее с наступлением временного просвета во внутренней политике. По оживлению населения, по восторженному настроению представителей литературы, искусства и просветительных учреждений, в большинстве входивших в состав разных депутаций с хоругвями и венками, по трогательным эпизодам сопровождавших это открытие — оно представило незабываемое событие в памяти каждого из сознательно при нем присутствовавших.

Три дня продолжались празднества, причем главным живым героем этих торжеств являлся, по общему признанию, Тургенев. Но на третий день его заменил в этой роли Федор Михайлович Достоевский. Тому, кто слышал его известную речь в этот день, конечно с полной ясностью представилось, какой громадной силой и влиянием может обладать человеческое слово, когда оно сказано с горячей искренностью среди назревшего душевного настроения слушателей. Сутуловатый, небольшого роста, обыкновенно

со слегка опущенной головой и усталыми глазами, с нерешительным жестом и тихим голосом, Достоевский совершенно преобразился, произнося свою речь. Еще накануне, слушая его на вечере превосходно читающим „Как весенней раннею порою“ и декламирующим Пушкинского „Пророка“, нельзя было предвидеть того полного преображения, которое с ним произошло во время его речи, хотя стихи были сказаны им прекрасно и производили сильное впечатление, особенно в том месте, где он, вытянув перед собою руку и как бы держа в ней что-то сказал дрожащим голосом: „и сердце трепетное вынул!“ — Речь Достоевского в чтении не производит и десятой доли того впечатления, которое она вызвала при произнесении. Содержание ее, в свое время, дало повод к ряду не лишенных основания возражений. Но тогда, в Пушкинские дни, с эстрады Дворянского Собрания, пред нервно-настроенной и восприимчивой публикой, она была совсем иною. Участники этих дней не только особенно горячо любили в это время Пушкина, но многие простаивали подолгу перед его памятником, как бы не в силах будучи наглядеться на бронзовое воплощение „властителя дум“ и виновника общего захватывающего одушевления. В мыслях

о судьбе и творчестве безвременно погибшего поэта сливались скорбь и восторг, гнев и гордость истинною, непререкаемою славой русского народного гения. Эти чувства, без сомнения, глубоко влияли и на Достоевского, которому лишь в конце его „судьбой отсчитанных дней“ пришлось испытать общее признание после долгих лет тяжелых страданий, материальной нужды, упорного труда и вольного и невольного непонимания со стороны литературных судей. На эстраде он вырос, гордо поднял голову, его глаза на бледном от волнения лице заблистали, голос окреп и зазвучал с особой силой, а жест стал энергическим и повелительным. С самого начала речи между ним и всею массой слушателей установилась та внутренняя духовная связь, сознание и ощущение которой всегда заставляют оратора почувствовать и затем расправить свои крылья. В зале началось сдержанное волнение, которое все росло, и когда Федор Михайлович окончил, то наступила минута молчания, а затем, как бурный поток, прорвался неслыханный и невиданный мною в жизни восторг. Рукоплескания, крики, стук стульями сливались воедино и, как говорится, потрясли стены зала. Многие плакали, обращались к незнакомым соседям с возгласами и

приветствиями; многие бросились к эстраде и у ее подножия какой-то молодой человек лишился чувств от охватившего его волнения. Почти все были в таком состоянии, что, казалось, пошли бы за оратором по первому его призыву, куда угодно... Так, вероятно, в далекое время, умел подействовать на собравшуюся толпу Савонарола. После Достоевского должен был говорить Аксаков, но он вышел пред продолжавшею волноваться публикой и, назвав только-что слышанную речь „событием“, заявил, что не в состоянии говорить после Федора Михайловича. Заседание было возобновлено лишь через полчаса. Речь Достоевского поразила даже и иностранцев, которые, однако, не могли чувствовать таинственных нитей, связывающих некоторые ее места и выражения с сердцем русских людей в его сокровенной глубине. Профессор русской литературы в парижском университете, Луи Лежэ, приехавший специально на Пушкинские празднества, говорил мне вечером в тот же день, что совершенно подавлен блеском и силой этой речи, весь находится под ее обаянием и желал бы передать свои впечатления во всем их объеме „au Maître“, т.-е. Виктору Гюго, в таланте которого, по его мнению, так много общего с дарованием Достоевского.

После Пушкинских дней популярность Достоевского достигла своего апогея, и каждое его появление на эстраде в благотворительных ко́нцертах и чтениях сопровождалось горячими и бесконечными овациями. Он завоевал, думается мне, как никто из пишущей братии до него, симпатии всех слоев общества.

30-го января 1881 года был назначен в зале дома Кононова вечер в пользу Литературного Фонда и в память Пушкина. На нем должен был читать и Федор Михайлович.

Придя в этот день в окружный суд, где я был председателем, я пригласил одного из моих секретарей, молодого правоведа Лоренца, сына главного врача психиатрической больницы „Всех Скорбящих“ на девятой версте петергофского шоссе, начать доклад вновь поступивших бумаг и стал писать на них свои резолюции. Вскоре Лоренц стал запинаться, голос его дрогнул, и он внезапно замолчал на полуслове. Я поднял голову и вопросительно взглянул на него. Глаза его были полны слез, и рот кривила судорога сдерживаемого плача. — Что с вами? вы больны?! — воскликнул я... — Достоевский, Достоевский умер! — почти закричал он, поражая меня этим неожиданным известием, и залился слезами. И таково было в большей или

меньшей степени впечатление и настроение всей обширной судебной семьи, работавшей в этот день в суде, — и преимущественно младших ее членов. Мысль о том, что мы обязаны принять участие в отдании последнего долга усопшему, зародилась сразу у всех и не допускала ни колебаний, ни возражений. В этот и в ближайшие затем дни Достоевский был в полном смысле „властителем дум“ почти всего общества, как, в значительной степени, был им и в два последние года своей жизни, особенно после появления „Братьев Карамазовых“.

Я поехал поклониться его праху. На полутемной, неприветливой лестнице дома на углу Ямской и Кузнечного переулка, где в третьем этаже проживал покойный, было уже довольно много направлявшихся к двери, обитой обтрепанной клеенкой. За нею темная передняя и комната с тою же скудной и неприхотливой обстановкой, которую я уже видел однажды. Федор Михайлович лежал на невысоком катафалке, так что лицо его было всем видно. Какое лицо! Его нельзя забыть... На нем не было ни того как бы удивленного, ни того окаменело-спокойного выражения, которое бывает у мертвых, окончивших жизнь не от своей или чужой руки. Оно говорило — это лицо, оно

казалось одухотворенным и прекрасным. Хотелось сказать окружающим: „nolite flere, non est mortuus, sed dormit“ *). Тление еще не успело коснуться его, и не печать смерти виднелась на нем, а заря иной лучшей жизни как будто бросала на него свой отблеск... Я долго не мог оторваться от созерцания этого лица, которое всем своим выражением, казалось, говорило: „Ну да! это так — я всегда говорил, что это должно быть так, а теперь я знаю“...

Вблизи гроба стояла девочка, дочь покойного, и раздавала цветы и листья со все прибывавших венков, и это чрезвычайно трогало приходивших проститься с прахом человека, умевшего так тонко и с такой „проникновенной“ любовью изображать детскую душу.

Достоевский скончался в один день с Пушкиным и Карлейлем — 29 января. Вечер в память Пушкина состоялся, но вместо Достоевского вышел Орест Федорович Миллер и сказал теплое слово, а затем на эстраду вынесли и поставили сделанный углем, поразительный по сходству, набросок Репина с умершего. В антракте портрет хотели унести, но присутствовавшие запротестовали — и он остался...

*) „Не плачьте, — он не умер, но спит“.

Весь антракт стояла перед ним, в благоговейном молчании, масса народу, охваченная одним чувством. Так память о Пушкине, которому поклонялся Достоевский,— слилась, в этот вечер, с полной скорбного волнения памятью о нем самом.

Весть о его смерти быстро облетела весь Петербург, и на его квартиру началось настоящее паломничество. У его гроба сошлись, позабыв различие направлений и всякие злобы дня, — все, кто не мог не чтить в усопшем не только высоко талантливого творца „Униженных и оскорбленных“, но и горячего их заступника, друга и — нередко утешителя. Его праху поклонились все, кто испытал на себе хоть однажды то чувство бесконечной жалости к несчастию, то чувство всепрощающей и всепонимающей любви к страдающему, к скорбящему и болезненно-возбужденному, которым были проникнуты лучшие из сочинений замолкнувшего на век художника-мыслителя. Он умер среди разгара противоположных мнений, им вызванных — умер, готовясь наносить и получать полемические удары от лиц, несогласных с его политическими идеалами. Но в эти печальные и трогательные минуты никто не мог думать и говорить об этих спо-

рах. И они, и данныя, их вызвавшие, были еще слишком близки, слишком еще мало было по отношению к ним спокойствия и беспристрастия, создаваемого временем, которое одно, развернув туманное будущее, могло показать, насколько верно смотрел на призвание и свойства своей родины, глубоко и горячо любивший ее покойный. Живучесть его политических идеалов была еще вся в будущем, в нем — их сила или слабость, но образы, им созданные,—уже жили полной жизнью, вылившись из „жаждавшей и алкавшей правды“ души своеобразного и несравненного мастера. Эти образы, невидимо, но понятно для окружающих, возникали вокруг его гроба и указывали на тяжесть и значение понесенной утраты. Они вероятно двигались вереницею в уме каждого, подходившего к нему, и напоминали ту негодующую скорбь и те слезы дрогнувшего сердца, которыми для многих сопровождалась умственная встреча с ними. Ими переполнены были страницы его произведений. Было ясно, что и трогательный в своей нежной любви Макар Девушкин, со своею оборвавшеюся пуговкою виц-мундира, — и „бледненькая, худенькая, со слабеньким голоском“ Соня Мармеладова, и сам Мармеладов „образа звериного и пе-

чати его", — и истерзавшийся Раскольников, и его мать, и Карамазовский штабс-капитан с „мочалкою", — и „вечный муж", и все эти исстрадавшиеся, опустившиеся, нервные и мрачные люди, которых так умел описывать Достоевский — не умрут среди образов, созданных русской литературой, пока в ней будет жить желание найти в самой омраченной, в самой озлобленной душе задатки любящего примирения. И для всех искателей этого — Достоевский образец и великий учитель. У него надо изучать и приемы тончайшего, проникающего в самую глубину, анализа душевных движений натур усталых, ослабевших, надломленных в житейской борьбе, — и изумительного изображения тонких и сложных психических состояний, свойственных людям, находящимся на границах действительности и целого мира грез и болезненной игры фантазии. Со страниц его сочинений всегда будет звучать призыв к внимательному и любящему изучению детской души, приходящей в столкновение с суровым реализмом жизни. Эта черта его — общая с великим английским романистом Диккенсом—всегда будет бросать особый свет на его произведения. Уметь так просто, правдиво и задушевно описать волнения и страсти „ма-

ленького героя", и порывы негодования ребенка при виде истязуемой лошади, — уметь создать „Ильюшечку" и написать его сцену с оскорбленным и поруганным отцом — мог только художник, носивший в груди умеющее нежно любить, чутко отзывчивое сердце.

Если бы нужно было охарактеризовать одним словом общее чувство всех бесчисленных посетителей, приходивших ко праху Достоевского, я сказал бы, что это была „осиротелость", едкая почти до боли и тем более тяжелая, чем неожиданней она налетела. Андреевский совершенно верно выразил это чувство, сказав в своем стихотворении „У гроба Достоевского" — кто повторит слова любви — несчастным, падшим, маловерным? — кто им, в пылу нелицемерном — подымет взоры от земли?!..

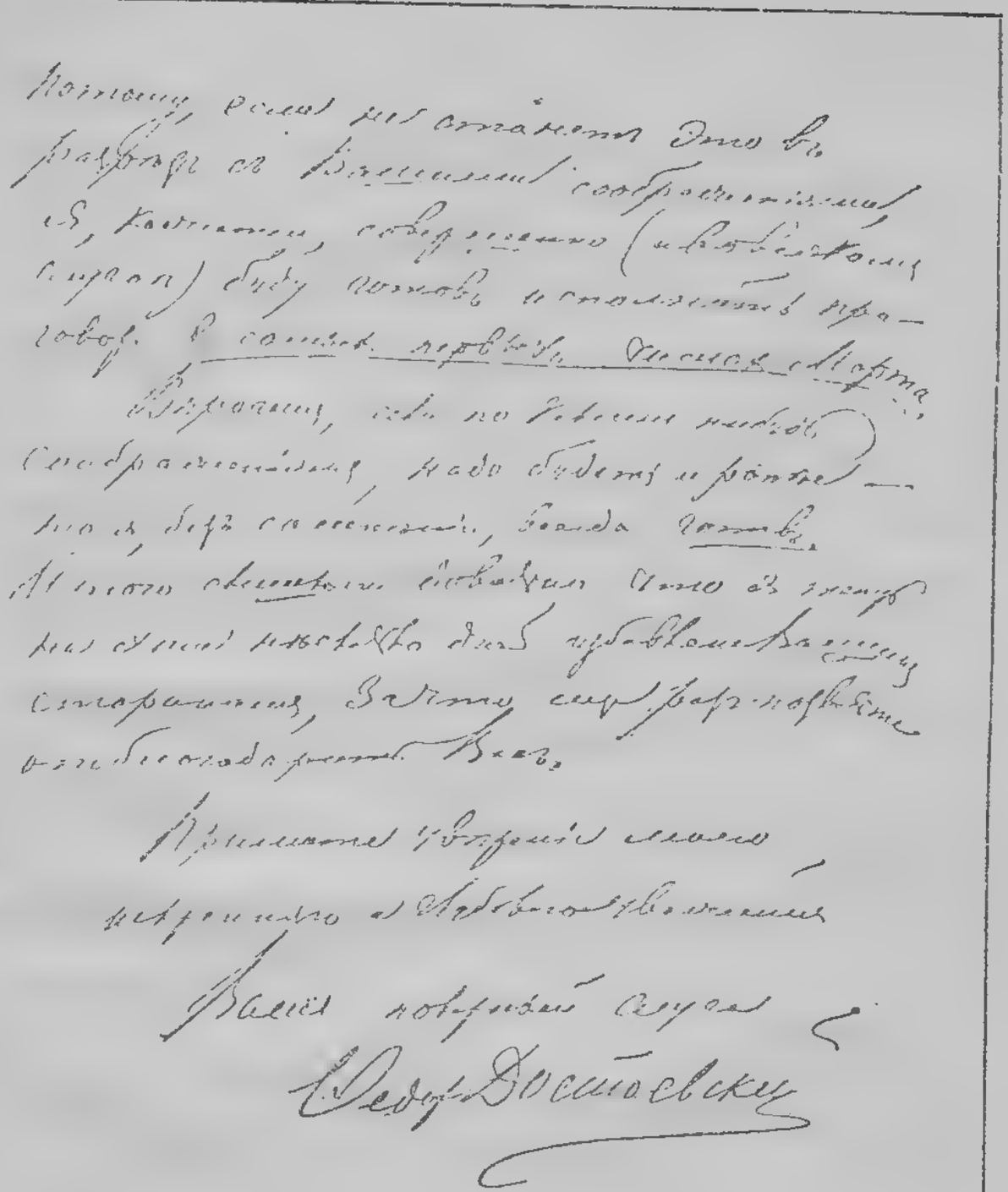
Туманный день, больной и хмурый
Как скорбный склад его ума,
Весь заслонен его фигурой...
И жизнь печальна, как тюрьма,
Куда вносил он утешенье...
Прими немое поклоненье
За жизнь страданья и заслуг,
Разбитых душ любимый друг!

Похороны Достоевского — настоящее общественное событие — были чем-то в таком размере

Милостивый Государь
Анатолий Федорович,

Позвольте мне от души поблагодарить Вас, во первых, за отеческую расположенность о моем аресте, а во вторых, за letter, где мне слова, написанные Вами, обо мне в письме к моей уважаемой и добрейшей Е. Ф. Кумковой, к которой этот случай дал мне большое удовольствие быть небезызвестным.

По Вашей милости буду в этом деле я в состоянии исполнить это обещание; из настоящего времени я, кроме вещей, ничему не верю! Живо мое воображение, но оно не в состоянии верно по-добрать цвета к этой картине — мрачны были и конец ее печален. —



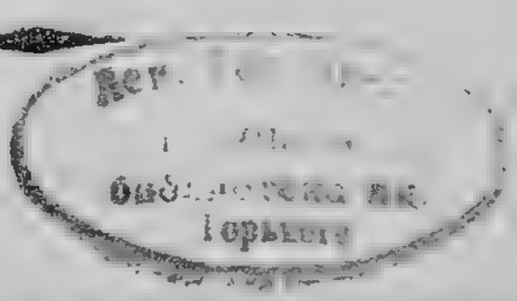
Письмо Ф. М. Достоевского к А. Ф. Кони

дотоле невиданным. Полное отсутствие полицейских „мероприятий“ — и полный порядок непрерывного громадного шествия, поддерживаемый цепью из учащихся, — трогательное пение многочисленных импровизированных хоров, — воспитанники и воспитанницы средних учебных заведений, стоящие шпалерами на пути, — бесконечные венки с трогательными надписями, несомые особыми депутациями,—и свободно выливавшаяся из души торжественность настроения у участников и зрителей — придавали процессии величественный вид и незабвенный характер. Тут сказывались — единство идеи и общность потери, сплотившие самых разнообразных по своим взглядам, положению и деятельности людей. В то время, когда гроб выносили из квартиры Достоевского, первая группа депутатов с венками была уже на Знаменской площади, на пути к Александро-Невской лавре. Шествие длинной и широкой лентой растянулось по Владимирской и Невскому и грустная гармония всего происходившего ничем не была нарушена. Пред выносом, между участниками депутаций раздавался листок с воспроизведенным на нем автографом покойного, а первыми, взявшимися за ручки гроба, который всю дорогу затем несли, окруженные

широкою гирляндою цветов, укрепленных на шестах, постоянно сменявшиеся желающие,— были Пальм и Плещеев, за тридцать два года перед тем, вместе с усопшим возведенные на эшафот на Семеновском плацу для выслушания приговора по делу Петрашевского. В день похорон вышел первый № „Дневника Писателя“ за 1881 г., начинавшийся словами: „Господи! неужели и я, после трех лет молчания, выступлю в возобновленном Дневнике моем“... Этот № был последним словом Достоевского русскому обществу.

Обычное у нас временное забвение не коснулось Достоевского. О нем не пришлось напоминать. Интерес к его трудам и взглядам не ослабел,— они, напротив, стали все больше и больше привлекать к себе вдумчивость критиков и мыслителей — и отзывчивость работников в области изучения острых проявлений душевной жизни.

Быть может не далеко время, когда у нас образуется особое научно-литературное общество имени Достоевского, подобно недавно еще существовавшему Пушкинскому и ныне действующим Толстовскому и Тургеневскому.



HI
1573